

## Виталий Чапкович

## Смысл жизни

Рассказ



Эшелоны крымских татар шли на восток через маленькую сибирскую станцию пролётом – все запасные пути были забиты такими же эшелонами. В нескольких десятках метров от вокзала слонялись молчаливые старики, одетые в плюшевые жакетки женщины и диковатые ребятишки. Многие, приехавшие раньше, понастроили будок и землянок недалеко от базарной площади; в ход шли ржавые листы железа, фанера, старые доски, куски черепицы. Поселение получило название «Орды». Взрослые нас пугали «Ордой», часто можно было видеть угрюмую кучку татар, медленно везущих на тележке обёрнутого белой тканью покойника, нередко это был ребёнок. Мальчишек-татар мы сторонились и дразнили их непонятными словами: «Нары, нары, накулдык, чёрна муха, белый штык». Но бабка моя сказала мне как-то: «Ты их не трогай. Татаре – народ хороший. Помирать будет, а не украдёт». Бабка была справедлива в суждениях, немногословна и не особенно стеснялась в выражениях. Девчонкой будучи, возила тачкой землю на строительстве Транссибирской магистрали, помнила Гарина-Михайловского, бывшего на их участке инженером. Даже в тюрьме побывала по моей невольной вине. Случилось это так.

В начале войны прибыл к нам эвакуированный из Подольска швейный цех со всем оборудованием – шили «шинеля» для комсостава. Бабка и поступила туда закройщицей, а работала на дому. Разложив на громадном столе «штуку»

сукна, намечала мылом ориентиры, после чего острой бритвой, без лекал, резала нужные детали, а я их раскладывал на полу по кучкам: рукав, пола, спинка, ворот. Сшила она мне из серо-голубого генеральского сукна длинную, до пят, кавалерийскую шинель – сзади высокий разрез с золотыми пуговицами, рукав «до косточки», подкладная грудка, кант по вороту, да ещё кубанку – верх малиновый, опушка – каракуль. Шли мы по базару – глазели все на меня, а бабка быстро сбывала свои изделия: суконные шапки, рукавицы, поддёвки за хорошую цену; спрос был всегда. Часто выменивала сало, мёд, пшено, постное масло, мыло – жили мы не голодно. Ходить с бабкой быстро надоедало, и я убегал в другие ряды, где торговали семечками, махоркой, кедровым орехом, трофейным немецким барахлом, метлами, скобьём. Там семья китайцев продавала бумажные цветы, веера, зонтики и сладкую тянучку. Лилипуты показывали акробатические номера. Здесь же гармонист в солдатской форме без погон, с деревяшкой вместо ноги пел про Чуйский тракт, про драку в таверне; время от времени исполнитель, подпрыгивая, обходил с шапкой круг слушателей, представляясь: «Молодой человек Володя». Я слушал Володю, до трепетной боли переживая судьбу калек-танкиста или раненного черноморского матроса; рыдающие басы гармони

я простая мелодия магически действовали на меня, и я убежал, чтоб не видели моих слёз...

«Купи мне гармони!» – часто приставал я к бабке. На прилавке стояли разнокалиберные тулки и ливенки. Володя по просьбе покупателя пробовал «голос» инструмента, забористо играл, в оценке был справедлив, не «надувал» покупателя за мзду, предлагаемую продавцом. «Обманешь – себя наешь», – говорил он. Рядом располагался фотограф по кличке «Ваше Желание». Прозвали его так потому, что этими словами он зазывал клиентов в свой «павильон», представляющий собой три фанерные стены под навесом. На задней стенке был нарисован матрос, перекрещенный пулемётными лентами. На поясе у него было два пистолета и гранаты, за спиной – винтовка. На квадратную грудь, через автомат, свешивались чёрные ленты с золотыми якорями. Бескозырку украшала крупная надпись «Варяг». Желающий сфотографироваться становился на скамейку с другой стороны и вставлял лицо в прорезанное овальное отверстие. Вторая стенка «павильона» изображала берег пруда с беседкой посередине; плавали жирные лебеди с бантами на шее. Дама кустодиевских габаритов, в белом платье, с плоским жёлтым лицом, положила левую руку с часами на спинку стула, куда предлагалось сесть клиенту. Третья стенка нравилась мне больше, потому что сидящему на нарисованном коротконогом коне давалась черкеска, мохнатая шапка и настоящий наган, только без барабана. Ваше Желание кряхтел под чёрной тряпкой, двигая гармошку с объективом, затем выныривал: «Не шевелимся! Ваше желание!» – и описывал в воздухе плавные зигзаги чёрной крышкой. «Мальчик! – сказал он мне однажды. – Ваше желание! Вот паренёк хочет в твоей шинели сняться – дай ему. И кубанку тоже. Я тебе пистолет дам подержать». Хмурый

мужик с подростком нетерпеливо стояли рядом. Я медленно снял шинель, протянул парню. Она оказалась ему маловата, он снялся расстёгнутым, в лихо заломленной кубанке. Вскоре объявился ещё охотник сфотографироваться в моей шинели. «Не, раздеваться не хочу – холодно», – сказал я. «Я тебе рубль дам, ваше желание!» Зажигалка из гильзы стоила три рубля. Выручив эту сумму за прокат шинели, я решил больше её не давать, так как действительно замёрз. Клиенты долго примеряли шинель, крутили в руках кубанку; последний красномордый парень снялся внакидку. Видя мою решимость, Ваше Желание предложил мне сфотографироваться на коне, в черкеске. Против этого устоять я не мог. Взгромоздившись на узкую доску над нарисованным седлом и поправив наползающую на глаза вонючую шапку, я услышал бабкин голос:

– Эй! Собака на заборе! Слазь!

– Ваше желание! – подскочил фотограф. – Дама! Одолжите мне шинелку с шапочкой напрокат – больно замечательно запечатлеться все желание имеют! Рупчик с клиента, ваше желание! А паренёк и в фуфайке походит, как все.

Стащив меня с коня, бабка брезгливо бросила шапку в угол павильона.

– Ваше желание! Реквизит-он ить денег стоит, поаккуратнее бы... Еслиф, на примерича, кажинный будет кидать...

– Трояк дам – в церкви пёрнешь? – в упор спросила бабка.

Фотограф оторопел.

– А зря, мамаша! Сукнецо-то откудова? – крикнул Ваше Желание нам вслед.

Бабка остановилась и сказала на весь базар: «Пошёл ты весь...! Об лоб поросят бей, а ты, сволочь, от войны тряпкой укрывался. Морда». Все в городе знали, что Ваше Желание, работая охранником в лагере, во время заварухи эзков прострелил себе руку, комиссовался, вышел в белобилетники и всю войну проторчал

на базаре; был также и осведомителем НКВД.

Он бабу и заложил. Пересчитали, перемерили – все шинели нужных размеров, всё сукно на месте! Поэтому бабка легко отделалась, дали ей десятку, но сидеть она толком не сидела – в городе было женское отделение Сиблага, и жена его начальника, красивая властная баба, сразу определила бабу в команду бесконвойных, ибо дорожила ею как портнихой и давно у неё одевалась.

– Эх, – сокрушалась она, – в Москве бы ты, Ильинична, такие деньги делала!

Действительно, бабка могла сшить любую модель из принесенного заказчицей журнала. В её платьях полнеющая сороколетняя Галина выглядела моложе и стройнее. Она фактически управляла женской зоной – всегда выпивший муж её, тучный майор, прочно сидел под каблуком у супруги, в зоне мало показывался по многим причинам. Жена сквозь пальцы смотрела на его пьянство, зато ревниво оберегала его нравственность. «Нечего козлу в огороде болтаться», – говорила она, если муж после развода оставался в зоне. Да и развод часто проводила сама – отбывающих срок за аборт, воровок и проституток распределяла по рабочим местам.

Как-то, сидя после примерки за чайным столом, Галина спросила бабу:

– Ты вот, Ильинишна, торгуешь, сукно – не резина, как это у тебя недостачу не нашли?

– А её и не было, – ответила бабка.

–?!

– На раскрое у меня не один размер, а несколько – детали совмещать легче, и в отход идут не положенные семь процентов, а полтора – два; десять шинелей – вот и «лишние» три метра.

В другой раз на примерке начальница была не в духе. Покрутившись перед зеркалом, она придралась к рукаву – шит не так, грудь тянет.

– Ой, и правда! – воскликнула бабка, – как это я недоглядела! – Вы уж зайдите завтра, Галина Германовна, рукав я переставлю. Она не решилась послать начальницу, куда фотографа, так как Галина обещала подвести её под амнистию.

На другой день я с жгучим любопытством смотрел как заказчица раздевалась, не стесняясь моего присутствия, затем, надев обновку, долго трясла грудью перед зеркалом.

– Ну, это другое дело, – заключила она. Тут уж бабка не вытерпела:

– Другое дело – дала кому хотела. Я его и не трогала.

Галина застыла с поднятым подолом. Вишнёвые пятна растекались у нее по лицу:

– Врёшь ты... Ну, скажи, – врёшь?

– Вру, вру. Пошутила я, не серчай.

Чай пить начальница не осталась, но стала более покладистой, не донимала бабу придирами. Да и причин не было – вещи сидели на ней как влитые.

Вскоре мы с бабушкой опять стали ходить на базар. Базар был самым бойким местом в городе, и бабка была там, как рыба в воде. Часто к ней обращались спорщики, она мирила поругавшихся из-за места товаров, могла назвать «справедливую» цену; авторитет её был непререкаем. Осенью как-то подошла к ней бойкая девчонка: «Бабонька, дай обувку какую старую, я тебе пол помою».

Дома Шурка, так звали девчонку, действительно «вылизала» полы. Бабка молча смотрела, как она красными от холода руками выкручивает тряпку, потом сказала: «Ладно. А то другая помоеет, как обоссят. Ешь садись». Шурка, вытерев подолом руки, торопливо хлебала щи, а кусок хлеба сунула за пазуху.

– Давно болтаешься? – спросила бабка.

– С весны... Отец с войны не пришёл, мамка померла в эвакуации... Ушла я из приёмника, залезла в эшелон и еду. Шур-

ка хлюпала носом.

– Ты сопли-то утри, нечего плакать тут... Вот эт-то, дёвка, оставайся у меня. Бока не пролежишь, да сыта, в тепле будешь. В школу пойдёшь. Шурка заревела «ручьём»:

– Не одна я, бабонька, сестра у меня на вокзале, младшая.

– Я знаю – зачем бы ты хлеб за пазуху брала?

Отец, приехав из поездки, отоспавшись, сказал коротко: «Парней трое да девки две – семейка!» И потом записал девчонок в райисполкоме, как временно проживающих без матери, в ожидании пропавшего без вести отца.

Бабка сурово руководила семьёй. После смерти матери она не допустила ни уныния, ни разлада – все были равны, при деле, спрос был строгий – никогда с нами не сюсюкала. «Кто тютюнькает да по головке гладит – не верю я им. Накорми, согрей, к делу приставь – это да», – говорила она в ответ на сердобольные причитания приходившей частенько разжиться солью или луковицей соседки по прозвищу Кривая Акулина. Но иногда бабка, придя с девчонками из бани, долго пила чай, потом сажала на колени младшую, засыпающую Зинку и, прижавшись губами к её голове, раскачивалась, глядя куда-то вдаль, тихонько пела одну и ту же колыбельную с припевом: «Отцу-молодцу на тужурку пугвицу».

Шурка быстро схватывала портновское ремесло: торочила края, обмётывала петли, выучила все выкройки, могла вытянуть на болванке плечо, убрать складки, прострочить окантовку.

Опять же с базара привела она этого гармониста. Я с испугом смотрел на малиново-серую культяпку, которую бабка, омыв, перевязывала тряпкой с мясистыми листьями столетника.

– Приёмную гильзу в Красноярске подогнали хуёво, протез не могу носить, – говорил Володя.

– А ну – не ругайся тут – вон иконы висят! Ты не дури, парень, винище жрать брось да наградами пьяный не трясись – не побрякушки. Не у тебя одного семья пропала, эка невидаль. Найди женщину хорошую – вон их сейчас сколько – третья-то нога на месте? Да живи домом, а то сдохнешь со своей гармонью под забором. А прожить, если с умом, и гармонью можно – вон Ваня Маланин\* через гармонь в люди вышел, а тоже инвалид. Пока Володя ел, я не отрывал глаз от стоявшей на лавке гармони. «Дай-ка я тебе сыграю», – сказал он, встав из-за стола. Это было потрясение. Ни на что не похожая, строго красивая синяя мелодия прорезала мою душу и взлетела над бедностью, пьянкой базарной, драками и воровством. Неужели может быть такая мелодия – недоступно чистая в своём совершенстве! «С немецкой пластинки выучил», – сказал Володя, когда ко мне вернулась способность воспринимать что-либо. Ни виолончель Растроповича, ни лучшие басы мира, включая запись Шаляпина, не могли превзойти того первого впечатления от Эллегии Массне, которое осталась на всю мою жизнь после исполнения её базарным пьяницей-гармонистом... Вскоре умытый и накормленный «Молодой человек» Володя бойко шкандыбыл на своё «рабочее место». На другой день он, в меру пьяный, был в своём репертуаре: «...Вылез я из подбитого танка и забрали меня в медсанбат, но вернулся домой я калекой, в этом я пред тобой виноват!» Подавали ему хорошо. К вечеру он, в стельку пьяный, спал в закутке под овощным прилавком; рядом в ящике изпод папирос «Север» стояла его гармонь. «Не в коня овёс», – сказала бабка и больше домой его не водила. Но добро Володя не забыл – занимал мне с ночи очередь за керосином и утром следил, чтоб меня не выпихнули, так как реплики «пацана ночью не было» раздавались. Как-

то я подсказал ему слова песни и на устроенном мне экзамене продемонстрировал безукоризненное знание всего репертуара.

– Ты, патефон ходячий, – сказал мне Володя, – пой со мной – фонарик «Даймон» куплю с батареейкой. И вот я, быстро преодолев стеснение и освоившись, предлагаю:

– Давай «Маленький домик на юге».

– Не, не пойдёт, сейчас «Под ним растопляется город Берлин» надо, – говорил Володя, окинув взглядом аудиторию. Настроение слушателей он чувствовал безошибочно и, когда не был сильно выпивши, работал артистически: песни предворял коротким пересказом фронтовых эпизодов из жизни лётчиков, танкистов и моряков – это были яркие импровизации, и у многих женщин в бедно одетой толпе на глазах сверкали слёзы. В такие моменты Володя не прыгал с шапкой – он обходил круг после более «нейтральной» песни:

*Отец мой – Ленин. (Пауза)*

*Мать – Надежда Крупская.*

*А дедушка – Кали-и-нин Михаил!*

Как-то в толпе я заметил бабку, по-моему, ей понравилось...

А татары потихоньку обживались. Они заняли подведённый под крышу старый барак, но особенно сильно разрослась «Орда». Появились клетушки из досок, печные трубы, на верёвках сохло бельё. Весной к нашему крыльцу подошла молодая татарка с ребёнком на руках. Стояла и молчала. Я впервые поразился женской красоте – сверкнула в памяти та же мелодия – прекрасные чёрные глаза, высокие скулы, смуглый чистый лоб, дивная линия губ и подбородка, тонкая статная фигура. Где же я её видел? В какой-то книжке был нарисован парусник, нос которого венчала эта женская фигура. Я часто смотрел на неё, потом старший брат подрисовал ей усы и саблю,

интерес пропал, и книжка забылась. Я позвал бабку: «Смотри, стоит – что-то надо». Бабка подошла, затем взяла у татарки ребёнка, завёрнутого в тряпки. На крыльце, обернувшись, сказала матери: «Тебя в избу не пуццу. Воняет от тебя сильно». В свёртке было крохотное существо – мальчишка; он не подавал признаков жизни, только иногда втягивал вздутый живот, усиливая межрёберные провалы, да кривил рот в болезненной гримасе. Веки, склеенные желтым гноем, не открывались. Бабка быстро сунула тряпку с нажёванным хлебом татарчонку в рот, тот стал часто-часто сосать. Затем она нагрела воды, развела марганцовку и выкупала ребёнка хозяйственным мылом. Я тем временем пёк на печке половинки луковиц, которые бабка мазала мёдом и прикладывала к чирьякам на спине и руках мальчишки. Затем она спеленала его, выдавила в маленький ротик сок листа алоэ и сунула соску с молоком. Татарчонку сосал жадно и долго, затем отвалился и заснул. Разбавив кипячёной водой яичный белок бабка, разодрав веки, капала эту смесь мальчишке в глаза. Много позже, студентом мединститута, я узнал, что этот рецепт рекомендует для лечения гнойных конъюнктивитов известный офтальмолог Филатов. Только вряд ли бабка была знакома с академиком. Татарка всё стояла поодаль, я вынес ей хлеба. Дня через три – четыре ребёнок стал громко орать – оклемался.

– Вот звонкодырый, язви тя, спасу от тебя нету, – ворчала бабка, пеленая приёмышу. В избе сидела соседка, Кривая Акулина. Прижимистая и хитрая, она торговала на базаре украденными с хлебозавода сухими дрожжами, фасуя их чайной ложкой в газетные кульки.

– Вот не шью, да не в накладе, – ехидничала она, – а ты вот, Ильинишна, горбатишься всё время, а толк где? Никак в святые метишь – всё горе расхлебать хочешь. Девочек вот взяла – они, думаешь,

вспомнить? Замуж выскочат и на похороны не придут. Свои-то дети нынче... Один этот, – кивнула она в мою сторону, – что стоит.

– Этот как раз дорого стоит, – неожиданно встала бабка на мою защиту, – ему бы по его башке – прямая дорога в начальники, да только вот хулиган. Из школы пятёрки носит, а хоть бы раз за уроки путём сел.

У меня с Акулиной была давняя взаимная неприязнь. Её куры «взяли моду», как она выразилась, нестись под сараем, и она предложила мне доставать яйца, пообещав плату в 10 копеек за каждое. Я заикнулся об оплате, когда набежало около двух рублей, но Акулина говорила: потом да потом. Когда я вылез однажды из-под сарая весь в курином помёте и паутине, она заметила прилипшую к губе яичную скорлупу: не получая обещанных денег я, перевернувшись на спину, иногда выпивал ещё тёплое яйцо. Договор был расторгнут.

– Этот нехристь опять же, – гнула своё Акулина, – малой, малой, а всё рот лишний да и хлопоты. Басурманка-то так и ходит под окнами, глазища пялит, ночью на крыльце сидит. То и гляди, бельё стащит или корову сглазит.

Я выносил татарке еду, узнал, что зовут её Зулейха. К осени татарчонок окреп, бабка нашла ему пеленок-распашонок и с этим приданным отдала матери. «Молоко-то есть кормить?» – спросила она татарку. Та подняла на неё прекрасные глаза; слов не нужно. Вспыхнула взметенная ресницами прекрасная мелодия и засияла над убогими хибарами «Ордь».

Дружба моя с Володей крепла. Да и песни его, несмотря на их примитивность, были гораздо искреннее и понятнее мне, чем репертуар школьного хора. С моим абсолютным слухом я там нудился и с отвращением пел дубовую мелодию «Москва – Пекин, Москва – Пекин» или

«Академику Лысенко славу громкую поём, вейсманистам-морганистам нас дурачить не даём». Не зная, кто такие вейсманисты-морганисты и как они могут нас одурачить, я спросил об этом у Володи. «А, ну их на х..., не знаю – отмахнулся маэстро, – пидарасы какие-то». Я часто убегал с репетиции хора или вообще не приходил. И вот встречаем мы с бабкой школьного учителя пения по кличке Соловей – фамилия у него была Соловейчик. Как раз недавно бесславно закончилось моя карьера базарного певца. Подошли к нам подвыпившие мужики – делегаты какого-то колхозного съезда. Володя посчитал аудиторию подходящей, и мы спели матерную песню патриотического содержания, построенную по всем законам античной драмы: в прологе говорилось о глобальных стратегических планах империалистов:

*Прибыл из Америки посол*

*Х... моржовый, глупый, как осёл.*

*Говорит, что Муссолини вместе с Гитлером в Берлине*

*Разговор о наших землях вёл.*

Конфликт развивался притязаниями с востока:

*Тут японцы с криками «банзай!»*

*Земли до Урала нам отдай!*

*А не то святой Микадо отберёт до Ленинграда*

*Ваши земли к нашим приберёт!*

Апофеоз, финал и эпилог были вложены в уста прославленного маршала:

*Сам Георгий Жуков отвечал:*

*Пусть бы твой Микадо ... сосал!*

*Гитлер... подавился, Чанкайши... накрылся,*

*А Россия... на всех ложилась-да-да!*

Матерные слова я не пел, стеснялся, а вот напарник был в ударе.

Бабка волокла меня за ухо через всю толпу; на выходе с базара, вытирая с руки кровь из разорванного уха, она сказала:

– Ещё раз увижу, совсем оторву. И башку заодно.

И вот теперь, стоя перед учителем пения, бабка ждала, что он скажет. На всякий случай я отошёл.

– Ему поручено, – Соловей ткнул пальцем в мою сторону, – петь:

*Сталин – наша слава боевая.*

*Сталин – нашей юности полёт!*

*С песнями, борясь и побеждая,*

*Наш народ за Сталиным идёт!*

– Понимаете? – спросил он бабку. Бабка молча пошла, я плёлся следом. Ничего хорошего от этой встречи я не ожидал, тем более, что познакомил мальчишек из хора с базарным вариантом патриотических песен, которые вызвали у них большой энтузиазм. Дома бабка не спешила с расправой. Неожиданно прижала к себе, погладила по спине и сказала тихо: «Дурачок ты ещё, ничего не понимаешь, делай ты всё в этом хоре, чо велют, пой, чо он просит, раз уж Бог тебе дал; тебе может и ни чо, а отца посадят, и так он держится то ли моей молитвой, то ли машинист хороший». Отец, действительно, ожидал ареста: кочегар его паровоза, очищая дымогарные трубы, не остудил котёл и попал с ожогами в больницу. «Вредительство! Кто допустил? – Машинист!» – так рассуждал следователь. Спас отца приехавший Нарком путей сообщения Л.М.Каганович – проходили испытания паровозов серии «Л» – стремительные красавцы, прозванные за красный кант по зелёному полю генералами, шли на смену чумазым работягам «ФД». «Ну, Толя, дашь расчётный КПД на черемховских углях – делай дырку для ордена, не дашь – мне сделают», – говорил отцу конструктор серии Лебединский. Перевод локомотивного парка Транссибирской магистрали на местные угли давал громадную экономию – доставка донецкого антрацита обходилась дорого. «За морем телушка – полушка, да перевоз – рупь», – так сжато бабка изложила суть проблемы. Разговор и тон бабки сильно повлияли на меня, сильнее разо-

рванного уха. Я почувствовал какую-то тяжкую тайну песен про Сталина.

Мы с братом освоились в «Орде», таская татарке по поручению бабки то кринку молока, то банку мёда или ведро картошки. На отшибе в кустах длинная яма с доской по краю – женский туалет. Заняв позицию, наблюдаем. Татарки приходят с кувшинами, накрытыми тряпичей подмываться после туалета – древний обычай кочевых народов, проводящих большую часть жизни в седле. «Тащи малопульку», – командует брат. Ждём. Только старая татарка уселась, братец приложился щекой к прикладу – кувшин вдребезги. На крик перепуганной женщины сбежали татары. Накопившаяся злоба – барачный холод, голод, чужбина, болезни – порох в патроне и вот – выстрел. Визжащая толпа бежит за мной, брат-то поумнее – он с винтовкой в кусты и к лесу. Испутовавшись и понадеявшись на скорость, я – прямиком к дому; перемахнуть яму – мужской туалет – труда не составит. Но скользкая доска подвернулась, поехала и я – с маху, вместе с куском земли, с головой ухнул в зловонное месиво. Последний всплеск сознания – достающий до мозга запах, ввинчивающийся в череп... Потом помню – скорчившись на земле, бился в рвотных спазмах, царапая ногтями мёрзлую глину, и обступившие татары поливали меня из вёдер колодезной водой... Здесь же была Зулейха – это она сунула в яму доску, в которую я вцепился, и сработавший инстинкт самосохранения меня спас... Она же оттащила меня от ямы. «Хватит лить-то, окоченел мальчишка, и так, поди, не жилец. Тащи-ка, милая, его – у меня баня топлена», – сказала из толпы какая-то женщина. На крыльце бани я стоять не мог. Зулейха стащила с меня мокрую вонючую одежду. Реальность вернулась, когда она смывала с меня мыльную розовую от крови, идущей из рта, пену, прижимая голову мою к своему жи-

оту. Более совершенной красоты обнажённого тела женщины, обрѣмлённой стоящей в памяти недоступной синей мелодией, не встретилось мне потом никогда. Жгучий восторг, открытие своих ощущений быстро вернули меня к жизни – мне хотелось дольше сидеть в парилке и смотреть, как гибкая смуглая богиня поправляет длинные чёрные волосы. Но вот я, усталый, надеваю принесённую бабкой чистую одежду. Наверное, я бы согласился прыгнуть в ту же яму, чтобы потом опять впервые испытать потрясение красотой. Бабка дома перекрестилась на иконы и сказала:

– Слава тебе, Господи... В воде – не утонул, в патоке – не утонул и в говне не тонет – видать, сгореть тебе.

Я и в самом деле чуть не остался в ко-

лодце, куда меня опустили на веревке, чтобы достать мною же брошенную туда клеймо-кувалду. А в чан с патокой я упал, когда ловил голубей на чердаке сахарозавода. Бабка обняла меня и заплакала: «Когда ж ты уймёшься, язви тебя, беспутный! Теперь куда ишшо влегишь?»

Съехались мы. Стоим у неприбранной бабкиной могилы. Старший брат – профессор, младший – речник, ходит капитаном по Енисею от Дудинки до Красноярска. Шурка – радист на Дальрыбе, Зинка – товаровед, и я, самый непутёвый, – врач. Эх, бабка, бабка... Знала ведь ты – не расхлебать всего горя людского, но вера твоя – накорми, обогрей, к делу приставь – неосознанно усвоена нами как смысл жизни. Не эта ли идея обессмертила дона Мигеля де Сервантеса?

---

\*И. И. Маланин – известный исполнитель на гармони и баяне.

г. Оулу, 2004

В Ч



Подсолнух